

УДК 882-31:39 (=94.23)  
DOI 10.17223/18137083/68/6

**Н. Н. Подрезова**

*Иркутский государственный университет*

**Буряты как автохтоны Сибири в романе И. Калашникова  
«Дочь купца Жолобова»**

Рассматривается образ бурят как автохтонов Сибири в романе И. Калашникова «Дочь купца Жолобова». Для читателя первой половины XIX в. озеро Байкал и его окрестности предстали репрезентантом экзотичной Сибири и этнохронотопом бурят. В границах оппозиции «свои – чужие» в романе бурятам противопоставлено не русское население, а разбойники, хозяйничающие на берегах Байкала. И. Калашников, акцентируя в качестве национального маркера бурят дружелюбие и невоинственность, семантизировал этнонимическое словосочетание «братский народ». Нецивилизованным формам быта и языческим верованиям братского народа автор находит аналог в античном мире.

*Ключевые слова:* буряты, И. Калашников, роман «Дочь купца Жолобова», автохтоны Сибири, Байкал как этнохронотоп, этноним «братские».

В историю русской литературы Иван Тимофеевич Калашников вошел как первый сибирский романист. Его романы «Дочь купца Жолобова» (1831) и «Камчадалка» (1833), действие которых происходило в Сибири, при жизни писателя имели несколько переизданий и воспринимались современниками как открытие terra incognita. Независимо от того, как оценивались художественные достоинства произведений автора, критики в один голос отмечали ценность введения самого сибирского материала в художественную словесность. Так, поддерживая ряд похвальных отзывов о романах [Пушкин, 1988, с. 491; Кюхельбекер, 1979, с. 402], Н. А. Некрасов отчетливо сформулировал этот тематический критерий ценности в рецензии на второе издание «Камчадалки»: «Подробности этого романа заставляют невольно желать, чтобы г. Калашников издал нам когда-нибудь книгу о Сибири, с которой он так коротко знаком и которую умеет так хорошо изображать в простодушном и занимательном рассказе. Мы еще очень мало знаем эту часть нашего отечества, и верная ее картина, начертанная образованным и умным пером, была бы истинным подарком для русской литературы» [Некрасов, 1989, с. 133]. В. Г. Белинский, оценивая по гамбургскому счету «Дочь купца

*Подрезова Наталья Николаевна* – кандидат филологических наук, доцент кафедры новейшей русской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета (ул. Ленина, 8, Иркутск, 664025, Россия; dekanat@slovo.isu.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3  
© Н. Н. Подрезова, 2019

Жолобова» как «quasi-куперовский» роман [Белинский, 1953–1959, т. 9, с. 9], резюмировал в дальнейшем: «Жаль, очень жаль, что г. Калашников, вместо плохих романов, не издает что-нибудь вроде записок о Сибири» [Белинский, 1953–1959, т. 13, с. 164].

Действительно, не только современники, но и историки сибирской литературы, отмечая специфичность художественной палитры И. Калашникова, признали уникальность полномасштабного изображения жизни Восточной Сибири, созданной в первой половине XIX в. (см. [Азадовский, 1947; Богданова, 1948; Постнов, 1985] и др.).

Выбирая Сибирь местом действия в романе «Дочь купца Жолобова», И. Калашников, с одной стороны, пытался опровергнуть расхожие представления обывателей о родном крае<sup>1</sup>, с другой – стремился дополнить этот образ конкретными реалиями, показывая Сибирь как особый мир со своим языком, бытовым укладом и нравами. Частью сибирской экзотики в произведении предстают культура и обиход коренных народов: бурят и тунгусов.

В советском литературоведении интерес к образам автохтонных народов Сибири в творчестве Калашникова был сосредоточен прежде всего на достоверности изображения этнографических подробностей жизни инородцев, что позволяло классифицировать такой тип романа как краеведческий исторический роман [Богданова, 1948, с. 101–103] или исторический роман, обладающий «краеведческой точностью и достоверностью» [Очерки русской литературы Сибири, 1982, с. 271].

Целью нашего исследования является рассмотрение образа бурят в романе Калашникова «Дочь купца Жолобова» как семиозстетического явления, семантика которого порождена такими значимыми факторами атрибуции смысла, как сюжетная структура, система хронотопов, иерархия субъектов речи и т. д.

Сибирский хронотоп в романе представлен пространством, внешними границами которого являются Иркутск и его окрестности (западная граница) и Нерчинский уезд (восточная граница). По ходу сюжета главный герой, оклеветанный завистливыми недругами, отправляется в Забайкалье (из Иркутска в Нерчинск), чтобы избежать несправедливого наказания. Дважды он преодолевает пространство (туда и обратно), разделенное Байкалом, который оказывается особо выделенным локусом, характеризующимся наивысшей степенью экзотизма.

Маркерами экзотизма озерного пространства становятся, во-первых, его мифологизация в рассказах разбойников о байкальских чудесах, их уверенность, что нельзя безнаказанно называть Байкал озером, а только Святым морем; во-вторых, связь с преданием о великом завоевателе Чингисхане; в-третьих, осознание этого места русскими героями как чужого и крайне опасного в границах своего сибирского мира. Экстремальность байкальского локуса задается отсутствием дорог и цивилизованных форм быта, населенностью разбойниками и диким зверем, а также непредсказуемостью погодных условий. Так, представляя Култук (деревню на берегу Байкала), откуда начнется движение героев по береговой линии озера, автор подчеркивает ее чрезвычайное положение: «Она стоит на небольшой долине, посреди гор, которые, идучи по берегам озера от востока к западу, малопомалу стесняют его и наконец на сей долине, сходясь довольно близко между собою, образуют угол (по-бурятски култук), обыкновенно называемый гнилым,

---

<sup>1</sup> Например, речь идет о климате, который рисуется в воображении западных россиян как непременно экстремально холодный. «Непосвященные в таинства отечественной географии часто спрашивают: неужели в Сибири бывает также теплое лето? Бывает, и теплое время начинается гораздо ранее, нежели в здешней столице, где ладожский лед и северные ветры нагоняют стужу и тоску среди мая месяца» [Калашников, 1985, с. 18].

ибо бури, свирепствующие на Байкале, большею частью рождаются в сем углу, представляющем род воронок» [Калашников, 1985, с. 40]<sup>2</sup>.

Именно в этом чужом и опасном байкальском пространстве впервые появляется действующий герой-бурят<sup>3</sup>, для которого это пространство является «своим». Так, при описании «Кругоморской дороги» как «единственного сообщения между Иркутским и Забайкальским краем», не единожды указывается, что она «известна одним бурятам» (с. 44–45). И если первая сюжетная функция бурят в романе связана с сопровождением русских героев по «Кругоморской дороге», то вторая – с помощью в поимке шайки разбойников, укрывающихся в прибрежных горах.

Несмотря на то, что вторым локусом, связанным с изображением бурят в романе, становится Гусиное озеро – сакральное место, где празднуется Санге-Гаара, оно оказывается факультативным для сюжетного развития. Герои туда попадают, чтобы попросить помощи у бурятского тайши в поимке разбойников на Байкале, и оказываются свидетелями бурятских праздничных ритуалов. При этом невозможно не отметить связь «озерной» семантики с образом бурят, потому что даже в номинации их родов (хоринского и селенгинского) автор прибегает к обозначению «зabayкальские» (с. 71). Локус Гусино озеро оказывается двойником Байкала, приобретая такие признаки, как сакральность, нецивилизованность, культурную и бытовую чужеродность, осознаваемую русскими героями. И если пространство Байкала хранит память о величии Чингисхана, то маркером архаики на Гусином озере становится огромный каменный столб с высеченным на нем человеческим лицом («памятник какого-то забытого племени» (с. 71)). Таким образом, сюжетное построение романа связывает образ бурят с изображением архаического нецивилизованного экзотического пространства, что особенно заметно на фоне городских топосов: Иркутска, Нерчинска, Улан-Удэ, в которых действуют только русские герои.

Функциями проводников и помощников в сюжетной структуре романа буряты наделяются не только благодаря тому, что территория Байкала для них «своя» и они имеют навыки жизни в естественной среде (ориентироваться в лесу и горах, метко стрелять, чувствовать перемену погоды и т. д.). Автор акцентирует читательское внимание на особом нраве бурят, который является отражением чувства родственной общности между ними. Эпизод угощения хлебом бурят, которые «с полным радушием и согласием разделили булку на маленькие кусочки», сопровождается комментариями русских героев:

– Вот настоящий братский дележ, – сказал Алексей Неудачину.

– Да, они всегда таковы. Один у них не съест крошки, чтобы не поделиться с другим. Не так, как у нас, у русских. Оттого они, говорят, и братскими названы (с. 76).

Идеализация братских отношений между бурятами прочитывается в мотивировке решения тайши отсрочить отправку своих стрелков для поимки разбойников: «не захотел никого из своих подчиненных лишиться участия в празднике» (с. 73)<sup>4</sup>.

В самом тексте романа автор часто прибегает к номинации «братские» как синониму бурят, семантизируя этноним в своем произведении. Калашников изображает, с одной стороны, справедливые, братские отношения бурят между со-

---

<sup>2</sup> Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием страниц.

<sup>3</sup> Первое упоминание о бурятах появляется во второй главе в авторском примечании к описываемому угощению в иркутском доме карымским чаем. Автор поясняет, что карымский чай – чай «в виде досок или кирпичей» – используется бурятами и русскими за Байкалом (с. 11).

<sup>4</sup> На значимость мотива роднения в изображении бурятского сообщества указывают фольклористы на материале улигеров [Дмитриенко, 2015, с. 56].

бой, а с другой – дружественное расположение к русским. Можно сказать, что «братскость» бурят распространяется и на русских<sup>5</sup>, взаимоотношения с которыми показаны в этом романе как лишённые жестких конфликтов. Это репрезентативно на фоне изображения других аборигенов Сибири – тунгусов. В Нерчинске герой останавливается у потомков легендарного Хабарова, слушая их рассказы о боях с тунгусами и воспринимая их как героическую историю освоения Сибири.

Зеркальность барочной пары<sup>6</sup> (буряты и тунгусы) в границах романа особенно показательна: тунгусы представлены также приспособленными к жизни в нецивилизованном пространстве, но в их сообществе не братскость, а воинственность становится главной добродетелью. Трусость показана как страшный человеческий изъян, влекущий за собой другие грехи, в истории Шеминга Уркундуева. И если буряты показаны «устрашенными» сильным противником в сцене схватки с Коровиным (они кинулись бежать, оставив двух своих соотечественников), то тунгусы, по рассказам Хабарова, демонстрируют отчаянную смелость в сражениях. Это качество в реплике князя Гантимурова выделено как признак этнической идентификации: «Я не думал, чтобы тунгус мог быть трусом» (с. 187). Поэтому сцена деления булки между бурятами коррелирует со сценой гона своими соотечественниками трусливого вора Уркундуева, который сравнивается с зайцем, бегающим от охотников к лесу.

Объединяет изображение автохтонных народов Сибири мотив наметившейся русификации, который подчеркивается, например, в образе князя Гантимурова, управляющего эвенками, «коего род, происходя из тунгусского племени, крестился и совершенно переродился в русских» (с. 184). Черты русскости присутствуют в характеристике ряда бурятских героев: имя охотника (Васька Батур), указание на вероисповедание (первый в порядке появления герой-бурят в романе именуется как ясачный, с авторским пояснением, что это значит «крещеный бурят» (с. 41). В комментариях факты взаимовлияния русских и бурят еще более отчетливы. Например, поясняя различие забайкальских бурят и иркутских, о последних сказано, что, «живучи между русскими селениями, они начинают строить и русские дома» (с. 63). Тенденция русификации лишена дискредитации национальной самобытности аборигенов и предстает закономерным приобщением к цивилизованным формам быта и следствием просвещения.

В аспекте взаимоотношений бурят с русскими репрезентативна судьба шаманки, историю которой читатель узнает из рассказа разбойника Якима. Героиня с десяти до восемнадцати лет жила «у русских в улусах», где «глупый» дьячок обучил ее русской грамоте, хотел «окрестить» и жениться на ней. В передаче этого событийного ряда нет конфликтной составляющей, взаимодействие с русскими передано как благополучный период жизни героини, естественный ход которого оказался насильственно прерван. Завязкой трагического конфликта стала встреча бурятской девушки с разбойниками: отправившись за благословением к отцу, она оказалась свидетелем жестокого убийства родителей и попала в неволю, где, по словам Якима, состарилась и «рехнулась в уме». Отсутствие сочувствия к судьбе бурятки и ее родным показательно в реплике рассказчика, отвергающего возможность сожаления атамана о содеянном преступлении: «Да разве в этих некрестях была душа? И того много, что атаман погулял с их черномазою дочкою!» (с. 83). Таким образом, мотив неполноценности аборигенов по этническому и религиозному признакам характеризует сферу сознания представителя деклассиро-

---

<sup>5</sup> Бурятский охотник Васька Батур, с которым сталкиваются герои по дороге в Забайкалье, дважды спасает жизнь попадающему в экстремальные ситуации русскому охотнику.

<sup>6</sup> Доказательно о поэтике сибирского барокко, представленной в романе Калашникова, см. исследование Н. В. Хомука [2014а; 2014б].

ванной группы, оказываясь в оппозиции к мотиву роднения русских с инородцами в кругу социализированного населения Сибири.

Автор в романе намечает сюжетную параллель между судьбами шаманки и русской героини Натальи. И если пленение Натальи бандитами – только одно из препятствий на пути к счастливому союзу с возлюбленным, то в судьбе шаманки противостояние разбойникам выходит за границы личного целеполагания, приобретая функцию сакрального служения в пределах этнической традиции.

На разных уровнях компоненты сюжетного ряда намечают отчетливый антагонизм бурят и разбойников. Показателен эпизод встречи Тимофея Брагина с охотником Васькой Батуром, который, увидев повисшего на дереве человека, стреляет в него, а потом оправдывается перед случайно спасенным знакомым: «...думал, какой-нибудь каторжный за грехи свои попал сам на виселицу» (с. 52). Повествователь объясняет этот поступок тем, что каторжных «братские обыкновенно бьют с большею охотою, нежели зверей, говоря: со зверя снимешь одну шкуру, а с каторжного часто две и три, то есть шубу, рубашку» (с. 51). Безусловно, охотничий меркантилизм не раскрывает причину антагонизма бурят и каторжников, но иллюстрирует степень остроты их конфликта. Так, ругающийся бурят в свою речь вставляет русские оскорбления, где в одном ряду оказываются «шорт», «дьявол», «каторжный» (с. 60). Глубинная природа антагонизма коренного населения Прибайкалья и каторжников, составлявших костяк разбойничьих сообществ, лежит в признании байкальской территории исконно своей. Поэтому семантика присвоения этого пространства чужими оказывается связана не с захватом и освоением русскими Сибири, а с тем, что в пространстве Байкала хозяйничают разбойники, скрываясь в прибрежных скалах и занимаясь грабежом путников и купеческих судов, идущих через Байкал. Таким образом, фабульный контекст свидетельствует о возможности категории хронотопа отражать национальное начало [Логинова, 2018]. Можно утверждать, что в романе Калашникова хронотоп Байкала связан с репрезентацией бурятского этноса, задавая тенденции развития романских коллизий.

Этнокультурными маркерами бурят в романе предстают формы их быта и верований. Мотив инородности, отличия бурятского мира от русского, оформляется в оппозиции «дикость – цивилизованность». Автор задает положительную семантику нецивилизованности (дикости), изображая аборигенов способными к существованию в экстремальном природном пространстве. Так, игры бурят во время праздника Санге-Гаара носят характер физических состязаний: борьба, беганье, стрельба из лука, в котором «забайкальские буряты столь искусны, что, путив вверх одну стрелу, другой перешибают ее на лету» (с. 73). Отрицательные коннотации нецивилизованности порождаются показом специфических форм поведения во время еды: отсутствие столовых приборов (едоки «выдергивали с пояса ножик и, взявши один край мяса в руку, а другой в зубы, обрезывали его вверх острием так, что без особенной привычки могли бы отрезать себе нос» (с. 72), скудность и нечистота посуды, само обозначение которой в русском языке имеет снижающий оттенок («корыта», «ушаты»).

Калашников дает два ракурса освещения этнических реалий. В границах кругозора героев однозначно актуализирован второй полюс нецивилизованности: «Алексей с отвращением смотрел на жадность и чрезвычайную неопрятность, какую оказывали буряты при сем случае» (с. 72). В кругозоре повествователя открывается иное видение бурятского пиршества благодаря тому, что появляется культурный контекст, отсылающий «к тем простодушным векам», когда «цари запросто убивали сами быков и когда герои, стараясь съесть более других, поставляли в том свою славу» (с. 73). Указание на европейскую традицию, освященную именем Гомера, безусловно, сглаживает эффект безобразного в восприятии языческого праздника, акцентируя витальность физической силы как куль-

турное детство народа, «отставшего от общего течения понятий в странах образованных» (с. 73).

Наибольшей степенью экзотичности наделяется в романе Калашникова «бурятская вера». Показательно, что впервые информацию о ней читатель получает благодаря впечатлениям несведущего героя (иркутский канцелярист), чьими глазами увиден случай общения буряты со своими «истуканчиками», одного из которых, «сделанного из бараньей шкуры с ногами и хвостом и с лицом человеческим», он начал сечь прутом, а другому, «из деревянных идолов», вымазал губы сметаной (с. 60). Объяснение увиденного доверено другому русскому герою, купцу из Нерчинска, который имел торговые дела с бурятами. Передавая идейную основу чужой веры, Неудачин выделяет те моменты, которые противоречат христианской модели мира. Это, во-первых, многобожие: боги, которых «наказывают», – это не творцы вселенной, а подчиненные божки. Во-вторых, недеяние создателя Тингири Бурхана, который, разделив управление мира между божками, «сам и руки опустил – ничего не делает: ни добра, ни худа, так что Бурхана не за что ни любить, ни бояться» (с. 60). В оппозиции к христианской онтологии, в основании которой находится единобожие и жертвенная любовь создателя к человеку, идея недеяния истолковывается как равнодушие, которым отмечены бурятский бог-творец и отношение буряты к своим божкам («всыпал их *прервнодушно* в тулун и повесил его на прежнее место» (с. 60, курсив наш. – Н. П.)).

Помимо отторжения идейной составляющей языческого мировидения как «ахиней», неприятие православными персонажами бурятских верований усилено чуждостью культовой эстетики. С камланием шаманки связан комплекс мотивов, передающих впечатления главного героя: нелепой странности наряда («платье на ней было длинное, кожаное, увешанное жестяными идолами, колокольчиками, орлиными когтями, змеиными чучелами, ремешками из невыделанных кож и разного рода металлическими побрякушками»); безобразности поведения («размахивала руками, кривила рот, закатывала зрачки глаз и редела самым диким голосом»); притворства («как бы сделавшись без чувств, она упала на землю») (с. 60–61). Религиозно-магические действия шаманки, увиденные глазами человека другой культуры, предстают как «коверканье», «ломание», «дурачества», которые лишены чинности и благообразия.

Позиции русских героев, с которых воспринимается чужая вера, в разной степени, но переданы через прием остранения, который мотивируется абсолютным неведением бурятских культовых форм (рецепция Алексея) или частичным знанием, но активным его неприятием (рецепция купца Неудачина). Это взгляд не изнутри понимания, а со стороны, заостряющий неприятие с позиции православных, уверенных в истинности своей веры и поэтому беспелляционно оценивающих чужую веру как неистинную.

Кругозор повествователя отличается от кругозора действующих лиц степенью исторической осведомленности о вероисповедании бурят<sup>7</sup>. Повествователь комментирует восприятие персонажей, мотивируя их точку зрения эмоциональным состоянием, природным нравом, уровнем образования. Позиция основного субъекта речи раскрывается в развитии сюжетной линии, связанной с судьбой шаманки и ее пророчествами. Читателю становится известно о верности шаманских предсказаний, которые сбывались в жизни Неудачина, сбудутся в судьбе Алексея и обстоятельствах смерти атамана.

Парадокс неприятия чужого мистического знания и подтверждающих его фактов легко разрешается в границах мировоззрения православных героев благодаря

---

<sup>7</sup> Во второй части романа повествователь упоминает о «принятии селенгинскими братьями веры ламайской», но в «описываемое... время селенгинский род держался еще веры шаманской» (с. 71). Действие в романе происходит во второй половине XVIII в.

приравнению бурятских шаманов к колдунам и ведьмам – хорошо известным персонажам русской фольклорной демонологии<sup>8</sup>. Купец Неудачин, изумляясь верности шаманских прорицаний, замечает: «Кажись, сам дьявол им помогает» (с. 60). Разбойник мистическую природу шаманки объясняет просто: она «рехнулась в уме да и попала черту в лапы – сделалась колдуньей» (с. 83). Кроме того, в изображении шаманки отчетливо прослеживаются мотивы фольклорной былички о ведьме. Например, традиционный мотив защиты креста от нечистой силы прочитывается в требовании шаманки в культовых действиях с православными «снять крест», потому что он у нее «отнимает язык» (с. 62). Сама форма пророчества носит характер иносказания, смысл которого не прозрачен для слушателя, но вызывает удивление и страх. Семантика ужасного в образах языческих жрецов порождается не только описанием их странного одеяния и жестуляции, но и соотносительностью их действий с убийством и кровью. Эпизод обращения шамана к духам у Гусиного озера во время празднования Санге-Гаара завершается сценой жертвоприношения животных: «По окончании сей молитвы подвели к шаману обреченных, и он начал поражать их ножом в грудь: кровь полилась рекою по жертвенному месту» (с. 72). Убийство одного из разбойников шаманка сопровождает хохотом со «злбною радостию» и «диким» пением (с. 78). Нивелирование культового смысла жертвоприношения в первом случае и акцентирование на антихристианских эмоциях героини задают восприятие языческих жрецов в привычной для русского сознания традиции изображения демонического. В русской быличке ведьма или колдун являются амбивалентными персонажами, в отличие, например, от черта, змия или русалки, и могут выступать в роли помощников или защитников от других вредителей.

За границами русской фольклорной традиции можно указать на некоторые специфические моменты в изображении образа шаманки, которые намечают еще одну линию его трактовки. Отличается от простонародного восприятия точка зрения повествователя, выраженная в пояснении к «чудным предсказаниям»: «Тайна сих предсказаний могла быть объяснена частью самым естественным образом, но частью заключалась и в общей способности людей помешанных провидеть будущее» (с. 83). Указание на особые возможности психически нездоровых людей, к которым отнесены предсказатели, принадлежит кругозору образованного человека. Подтверждает это и такая номинация шаманки в речи повествователя, как «Питонисса» и «Сивилла» (с. 61, 78), которая вводит античный код толкования этого образа как наследницы языческих прорицательниц, экстатически предсказывающих будущее.

Последним штрихом к образу шаманки становится изображение ее смерти на костре, в которой можно было бы увидеть аллюзию на европейскую традицию расправы с ведьмами, если бы не предсмертная песнь героини, в которой звучит полнота удовлетворения происходящим: «Пробил ты, желанный отмщенья час, – / И я умираю с отрадой! / О души родных! я погибла за вас, / Но вечность мне будет наградой» (с. 91). Автор счел нужным дать объяснение этой сцены в подстрочном примечании: «Шаманы умирают почти всегда не только безбоязненно, но и с радостью, думая, что по смерти своей будут они блаженны. Тела приказывают сжигать» (с. 91). Отсылка к этнографической реалии, в которой утверждается соразмерность такой формы смерти социальной роли героини, переводит это событие из трагического регистра в героический модус.

---

<sup>8</sup> В XX в. эта тенденция народного восприятия не исчезла. Примерами могут быть былички русского населения Восточной Сибири, записанные В. П. Зиновьевым, где среди рассказов о ведьме встречается номинация последней как «шаманки» [Мифологические рассказы..., 1987, с. 137].

В завершение следует сказать, что И. Калашников первым в русской литературе<sup>9</sup> создал этнокультурный образ бурят. Для русского читателя первой половины XIX в. озеро Байкал и его окрестности предстали репрезентантом экзотичной Сибири и этнохронотопом бурят. Калашников, акцентируя в качестве национального маркера бурят дружелюбие и невоинственность, семантизировал этнонимическое словосочетание «братский народ». Нецивилизованным формам быта и языческим верованиям бурят автор находит аналог в античном мире, показывая «чужую» культуру как находящуюся на начальной стадии развития единого движения человечества к просвещению и единобожию.

### Список литературы

*Азадовский М.* Сибирская беллетристика 30-х годов // Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск, 1947. Вып. 1. С. 80–105.

*Белинский В. Г.* Камчадалка. Соч. И. Калашникова. Второе издание. Санкт-Петербург, 1842. В тип. А. Иогансона. Четыре части // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. Т. 13.

*Белинский В. Г.* Проктопий Ляпунов, или Междоцарствие в России, продолжение Князя Скопина-Шуйского. Сочинение того же автора <О. П. Шишкиной> // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. Т. 9. С. 8–12.

*Богданова А. А.* Сибирский романист И. Т. Калашников // Учен. зап. Новосибир. гос. пед. ин-та. Новосибирск, 1948. Вып. 7. С. 87–120.

*Дмитриенко А. Н.* Как враги становятся друзьями в героических сказаниях алтайцев и бурят // Оппозиция «свой – чужой» в языке, фольклоре, литературе, музыке, культуре: Материалы Регион. гуманитарного форума научной молодежи. Новосибирск, 2015. С. 50–57.

*Калашников И. Т.* Дочь купца Жолобова: Романы, повесть / Сост., коммент., послесл. М. Д. Сергеева. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985.

*Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи / Заключ. ст., примеч. Н. В. Королевой, В. Д. Рака. Л.: Наука, 1979.

*Логина М. А.* Этнокультурный хронотоп малой русскоязычной прозы писателей Казахстана конца XX – начала XXI в.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Омский гос. ун-т. Омск, 2018. 23 с.

Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987.

*Некрасов Н. А.* Князь Курбский, исторический роман из событий XVI века. Сочинение Бориса Федорова. Четыре части. СПб., 1983. Камчадалка. Роман, сочинение И. Калашникова. Издание второе. Четыре части. СПб. // Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л.: Наука, 1989. Т. 11: Книга первая. Критика. Публицистика (1840–1849). С. 129–133.

Очерки русской литературы Сибири / Отв. ред. В. Г. Одинокоев, Ю. С. Постнов. Новосибирск: Наука, 1982. Т. 1: Дореволюционный период.

*Постнов Ю. С.* Исторические романы И. Т. Калашникова // Литературные очерки / Сост. Н. Н. Яновский, Б. М. Юдалевич. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. С. 118–186.

*Пушкин А. С.* Мысли о литературе / Вступ. ст. М. П. Еремина, примеч. М. П. Еремина, П. М. Еремина. М.: Современник, 1988.

*Хомук Н. В.* Роман И. Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова» и сибирское барокко. Статья 1 // Вестник Том. гос. ун-та. 2014. № 388. С. 35–41.

---

<sup>9</sup> Николай Полевой в «сибирской были» «Сохатый» (1830 г.) кратко упоминает о бурятах, участвующих в поимке разбойников в Сибири.

Хомук Н. В. Роман И. Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова» и сибирское барокко. Статья 2 // Вестник Том. гос. ун-та. 2014. № 389. С. 46–55.

**N. N. Podrezova**

*Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation  
dekanat@slovo.isu.ru*

**Buryats as Siberian autochthones in I. Kalashnikov's novel  
“The Daughter of the Merchant Zholobov”**

The paper deals with the image of the Buryats as a Siberian autochthonous population in I. Kalashnikov's novel “The Daughter of the Merchant Zholobov.” Kalashnikov was the first to introduce the Buryat ethno-cultural image in Russian literature. Lake Baikal and its surroundings represented exotic Siberia and Buryat ethno chronotope. It is not the Russian population that confronts Buryats in “friend-foe” opposition but the robbers who rule on the shores of Lake Baikal. By emphasizing both friendliness and unwarlike attitude of Buryats as their national marker, Kalashnikov offered an interpretation of the ethnonym “brotherly people.” The function of the Buryat characters in the novel is to help and guide Russians in the Baikal locus. In the novel, Buryats ethno-cultural markers are represented by their everyday life and beliefs. The ideological basis of the Buryat faith (pagan polytheism) is comprehended in the Christian paradigm for Russian characters. The perception of shamans in line with the Russian folk tradition of the demonic portrayal is due to leveling the meaning of cult forms and emphasizing their anti-estheticism. Shamans appear in the same category with such ambivalent characters of *bailichka* as wizards and witches. By naming woman-shaman as Sibyl and Pitonissa, the author introduces the antique code of interpreting her as the heiress of pagan prophetess. The juxtaposition between the Buryats and the Russians is centered around the dichotomy of “savagery – civility.” By drawing parallels with the Antique world, the author shows “alien,” i.e., Buryat culture, to be the initial stage of unified human aspiration towards enlightenment and monotheism.

*Keywords:* Buryats, I. Kalashnikov, novel “The daughter of the merchant Zholobov”, Siberian autochthones, Baikal as an ethno chronotope, ethnonym “bratskiye”.

DOI 10.17223/18137083/68/6

**References**

- Azadovskiy M. Sibirskaya belletristika 30-kh godov [Siberian fiction of the 30s]. In: *Ocherki literatury i kul'tury Sibiri* [Essays on literature and culture of Siberia]. Irkutsk, 1947, iss. 1, pp. 80–105.
- Belinskiy V. G. Kamchadalka. Soch. I. Kalashnikova. Vtoroye izdaniye. SPb. 1842. V tip. A. Ioganson. Chetyre chasti [Kamchadalka. I. Kalashnikov's writing. 2nd. ed. St. Petersburg, 1842. A. Johanson's printing house. 4 pts]. In: Belinskiy V. G. *Poln. sobr. soch.: V 13 t. T. 13* [Complete works: in 13 vols. Vol. 13]. Moscow, AN SSSR Publ., 1953–1959.
- Belinskiy V. G. Prokopiy Lyapunov, ili Mezhdutsarstviye v Rossii, prodolzheniye Knyazya Skopina-Shuyskogo. Sochineniye togo zhe avtora (O. P. Shishkinoy) [Prokopy Lyapunov or the Interregnum in Russia, a continuation of Prince Skopin-Shuisky. The writing of the same author (O. P. Shishkina)]. In: Belinskiy V. G. *Poln. sobr. soch.: V 13 t. T. 9* [Complete works: in 13 vols. Vol. 9]. Moscow, AN SSSR Publ., 1953–1959.
- Bogdanova A. A. Sibirskiy romanist I. T. Kalashnikov [Siberian novelist I. T. Kalashnikov]. In: *Uchenyye zapiski Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta*. 1948, iss. 7, pp. 87–120.
- Dmitriyenko A. N. Kak vragi stanovyatsya druz'yami v geroicheskikh skazaniyakh altaytsev i buryat [How enemies become friends in the heroic tales of the Altaians and Buryats]. In: *Oppozitsiya “svoe – chuzhoy” v yazyke, fol'klore, literature, muzyke, kul'ture: Materialy Regional'nogo gumanitarnogo foruma nauchnoy molodezhi* [Opposition “own-alien” in language, folklore, literature, music, culture: Materials of regional forum of young scientists]. Novosibirsk, 2015, pp. 50–57.

Kalashnikov I. T. *Doch' kuptsa Zholobova: Romany, povest'* [The daughter of the merchant Zholobov: Novels, story]. M. D. Sergeev (Comp., comm., afterword). Irkutsk, Vost.-Sib. kn. izd., 1985.

Khomuk N. V. Roman I. T. Kalashnikova "Doch' kuptsa Zholobova" i sibirskoye barokko. Stat'ya 1 [Novel of I. T. Kalashnikov "Daughter of the Merchant Zholobov" and Siberian Baroque. Art. 1]. *Tomsk State University Journal*. 2014, no. 388, pp. 35–41.

Khomuk N. V. Roman I. T. Kalashnikova "Doch' kuptsa Zholobova" i sibirskoye barokko. Stat'ya 2 [Novel of I. T. Kalashnikov "Daughter of the Merchant Zholobov" and Siberian Baroque. Art. 2]. *Tomsk State University Journal*. 2014, no. 389, pp. 46–55.

Kyukhel'beker V. K. *Puteshestviye. Dnevnik. Stat'i* [Journey. Diary. Articles]. N. V. Koroleva (Concl. Art., notes). Leningrad, Nauka, 1979.

Loginova M. A. *Etnokul'turnyy khronotop maloy russkoyazychnoy prozy pisateley Kazakhstana kontsa 20 – nachala 21 v.* [The ethnocultural chronotope of the small Russian-language prose of the Kazakhstan writers of the late 20th - early 21st centuries]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Omsk, 2018, 23 p.

*Mifologicheskiye rasskazy russkogo naseleniya Vostochnoy Sibiri* [Mythological stories of the Russian population of Eastern Siberia]. V. P. Zinov'yev (Comp.). Novosibirsk, 1987.

Nekrasov N. A. *Knyaz' Kurbskiy, istoricheskiy roman iz sobytiy 16 veka*. Sochineniye Borisa Fedorova. Chetyre chasti. SPb., 1983. Kamchadalka. Roman, sochineniye I. Kalashnikova. Izdaniye vtoroye. Chetyre chasti. SPb. [Prince Kurbsky, a historical novel from the events of the 16th century. The Boris Fedorov's writing. Four parts. SPb., 1983. Kamchadalka. Novel, I. Kalashnikov's writing. Second edition. Four parts. St. Petersburg]. In: Nekrasov N. A. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 15 t. T. 11: Kniga pervaya. Kritika. Publitsistika (1840–1849)* [Complete works: in 15 vols. Vol. 11: Bk. 1. Criticism. Articles (1840–1849)]. Leningrad, Nauka, 1989, pp. 129–133.

*Ocherki russkoy literatury Sibiri. T. 1: Dorevolyutsionnyy period* [Essays on Russian literature of Siberia. Vol. 1: Pre-revolutionary period]. V. G. Odinkov, Yu. S. Postnov (Eds). Novosibirsk, Nauka, 1982.

Postnov Yu. S. *Istoricheskiye romany I. T. Kalashnikova* [Historical novels of I. T. Kalashnikov]. In: *Literaturnyye ocherki* [Literary essays]. N. N. Yanovskiy, B. M. Yudalevich (Comps). Novosibirsk, Zap.-Sib. kn. izd., 1985, pp. 118–186.

Pushkin A. S. *Mysli o literature* [Thoughts about literature]. M. P. Eremin (Intr.), M. P. Eremin, P. M. Eremin (Notes). Moscow, Sovremennik, 1988, p. 491.